Впечатления: Райтсменова Магдалина

Анджела Картер

SHOUT
SHARE
IT

- Анджела Картер
  -

Анджела Картер
Впечатления: Райтсменова Магдалина

Для женщины, чтобы быть девой и матерью, нужно чудо; когда женщина не дева, да и не мать к тому же, никто не говорит о чудесах. Мария, мать Иисуса, вместе с другой Марией, матерью Святого Иоанна, и Марией Магдалиной, раскаявшейся шлюхой, спустились к берегу моря; женщина по имени Фатима, служанка, пошла с ними. Они ступили в лодку, они выбросили руль, они позволили морю забрать их туда, куда оно пожелает. Оно прибило их к берегу около Марселя.

Не увлекайтесь мыслью, будто юг Франции был лучше пустынь Сирии, Египта, или пустошей Каппадокии, где другие ранние святые, так же ведомые настоятельной нуждой в уединении, нашли засушливые, унылые расщелины, в которых им суждено было созерцать неописуемое. Повсюду вдоль средиземноморского побережья были чистые, квадратные, белые римские города, за исключением того места, где высадились три Марии со своей служанкой. Они высадились посреди малярийного болота, Камарга. Это было неприятно. Пустыня и то была бы менее вредной.

Но две непреклонные матери и Фатима — не забывайте о Фатиме — основали там церковь, у места, которое мы называем теперь Сен-Мари-де-ла-Мер. Там они остались. Но другая Мария, Магдалина, не-мать, не могла остановиться. Побуждаемая демоном одиночества, она шла в одиночку через Камарг, перебираясь через один известняковый холм за другим. Галька резала ей ноги, солнце опаляло кожу. Как настоящая манихейка, она ела фрукты, которые сами по себе падали с деревьев. Она ела упавшие ягоды. Чернобровая палестинская женщина бродила в тишине, тощая от голода, косматая, как собака. Она бродила, пока не пришла к лесу Сен-Бом. Она бродила, пока не пришла к отдаленнейшей части леса. Там она нашла пещеру. Там она остановилась. Там она молилась. Она не разговаривала с другим человеческим существом, она не видела другого человека тридцать три года. К тому времени она уже была старой.

Мария Магдалина, Венера во власянице. Картина Жоржа де Ла Тура не показывает женщину во власянице, но ее сорочка довольно груба и проста, чтобы являться траурным одеянием, или, по крайней мере, одеждой, которая показывает, что ты не

думал о личной красе, когда ее надевал. Даже если сорочка и глубоко открыта на груди, она, кажется, обнажает не плоть как таковую, но плоть, которая имеет больше сходства с воском горящей свечи, с тем, как восковая свеча озаряется своим собственным пламенем, и пылает. Так что можно было бы сказать, что — от талии вверх — эта Мария Магдалина на прямом пути к покаянию, но — от талии вниз, каковая всегда является более проблемной частью тела — возникает вопрос о ее длинной, красной юбке.

Остаток пышного наряда? Было ли это ее единственное платье, платье, в котором она блудила, затем раскаялась, затем уплыла? Прошла ли она весь путь до Сен-Бома в этой красной юбке? Юбка не выглядит запачканной, или изношенной, или порванной. Это роскошная, даже постыдная юбка. Багряное платье для багряной жены.

Дева Мария ходит в голубом. Ее предпочтение освятило цвет. Мы думаем о «небесно»-голубом. Но Мария Магдалина ходит в красном, цвете страсти. Две женщины — одинаковые парадоксы. Одна — не та, кем является другая. Одна — дева и мать; другая — не-дева, и она бездетна. Заметьте, английский язык не содержит специального слова, чтобы описать женщину взрослую, сексуально зрелую и не мать, пока такая женщина не использует сексуальность в качестве своей профессии.

Так как Мария Магдалина женщина и бездетная, она уходит в дебри. Другие — матери — остаются и создают церковь, куда приходят люди.

Но зачем она взяла с собой свое жемчужное ожерелье? Взгляните, как оно лежит перед зеркалом. И ее длинные волосы, очень красиво расчесанные. Неужели она все же полностью раскаялась?

На картине Жоржа де Ла Тура волосы Магдалины хорошо расчесаны. Иногда волосы Магдалины косматые, как у растафари. Иногда ее волосы ниспадают, запутанно переплетаясь с ее мехами. Марию Магдалину легче читать, когда она косматая, когда — в дебрях — она носит грубую одежду по собственному желанию, как если бы желания ее прошлого превратились во власяную рубаху, которая терзает ее настоящую, раскаявшуюся плоть.

Иногда на ней только ее волосы; они никогда не видели гребня — длинные, спутанные, неряшливые, свисающие до коленей. Она подпоясывает свои волосы вокруг талии веревкой, которой бичует себя каждый вечер, делая из них грубую тунику. В таком случае трансформация из молодой, красивой, сладострастной Марии Магдалины, счастливой не-девы, жрицы

любви, женщины, погрязшей в блуде, — завершена. Она превратилась в нечто дикое и странное, в женскую версию Иоанна Крестителя — волосатого отшельника, в сущности нагого, не вписывающегося в рамки рода, лишенного пола, не имеющего ничего общего с наготой.

Теперь она одна вместе с такими столпниками, как Симеон, а также другими одинокими пустынниками, вроде Святого Иеронима. Она ест траву, пьет воду из лужи; она становится похожа на еще более раннее воплощение «дикого человека из леса», чем Иоанн Креститель. Теперь она похожа на волосатого Энкиду из вавилонского «Эпоса о Гильгамеше». Женщина, которая однажды, в своем великолепном красном платье, была полуперсонифицирована, отошла теперь к экзистенциальной ситуации, в которой «полу-» попросту невозможно. Она достигла сияющей, просвещенной безгрешности животных. В своем новом, блестящем животном начале она лишена выбора. У нее нет теперь другого выбора, кроме добродетели.

Но на это можно посмотреть иначе. Подумайте о Донателловой Магдалине, во Флоренции — она высушена солнцами пустыни, потрепана ветром и дождем, страдает анорексией, беззубая, тело полностью поглощено душой. Можно почти уловить запах святости, который она источает — он буйный, он сырой, он ужасный. По рвению, с которым она приняла строгий аскетизм покаяния, можно сказать, как сильно она ненавидела свою раннюю жизнь так называемого «удовольствия». Умерщвление плоти для нее естественно. Когда узнаешь, что Донателло собирался сделать картину не черной, а позолоченной, это не смягчает ее настроения.

Как бы то ни было, можно понять позицию, которую один неизвестный Человек Просвещения занял во время путешествия по Европе двести лет назад — как Донателлова Мария Магдалина сделала его «ненавистником покаяния».

Покаяние становится садомазохизмом. Самонаказание — его собственная награда.

Но оно может превратиться в китч. Примите во внимание апокрифическую историю Марии из Египта. Которая была красивой проституткой, пока не раскаялась и не провела оставшиеся сорок семь лет жизни кающейся грешницей в пустыне, облаченная лишь в свои длинные волосы. Она взяла с собой три буханки и ела по кусочку хлеба в день, по утрам; буханок ей хватало. Мария из Египта чиста и свежа. Ее лицо чудесным образом остается без морщин. Она так же нетронута временем, как хлеб нетронут аппетитом. Она сидит на камне в пустыне, расчесывая длинные волосы, как Лорелея, чья вода

превратилась в песок. Мы можем представить себе, как она улыбается. Возможно, она поет песенку.

Мария Магдалина Жоржа де Ла Тура не достигла еще, очевидно, экстаза раскаяния. Возможно, на самом деле он нарисовал ее так, будто она вот-вот раскается — перед ее морским путешествием, фактически, — хотя я бы предпочла думать, что это голое, унылое пространство с одним только зеркалом является ее пещерой в лесу. Но это женщина, которая все еще о себе заботится. Ее длинные, черные волосы, гладкие, как у той японской женщины на нарисованном свитке — она, должно быть, как раз закончила их расчесывать, — напоминают нам, что она святая покровительница парикмахеров. Ее волосы — продукт культуры, а не замысел природы. Ее волосы показывают, что она только что пользовалась зеркалом как инструментом мирской суеты. Ее волосы показывают, что — даже когда она размышляет над пламенем свечи — этот мир все еще на нее рассчитывает.

Пока мы действительно не начинаем наблюдать, как ее душа вселяется в пламя свечи.

Мы встречаем Марию Магдалину в Евангелиях, делающей со своими волосами нечто экстраординарное. После того как она помазала ноги Иисуса сосудом своего драгоценного мирра, она отерла их начисто своими волосами — картина настолько удивительная и эротически безупречная, что удивляешься, почему ее так редко изображают в живописи, особенно живописи семнадцатого века, когда религиозная крайность и эротизм так часто шли бок о бок. Магдалина, использующая свои волосы — эту прекрасную сеть, которой она заманивала порой мужчин — как… ну, как швабру, тряпку, полотенце. И в этом, к тому же, присутствует легкий элемент порочного. В итоге что-то вроде кричащего жеста, который сделала бы раскаявшаяся проститутка.

Она расчесала свои волосы, возможно, в последний раз и сняла свое жемчужное ожерелье, также в последний раз. Сейчас она смотрит на пламя свечи, которое дублируется в зеркале. Давным-давно это зеркало было ее рабочим инструментом; это в зеркале она составляла все элементы женственности, которые складывала вместе для продажи. Но теперь, вместо того, чтобы отражать ее лицо, оно воспроизводит чистое пламя.

Когда я мучилась родами, я думала о пламени свечи. Я рожала девятнадцать часов. Сначала боли подступали медленно и были относительно легкими; их легко было укрощать. Но когда они подступали ближе и становились все сильнее и сильнее, я начинала сосредотачиваться на воображаемом пламени свечи.

Посмотрите на пламя свечи так, будто это единственная вещь

в мире. Какое оно белое и ровное. У сердцевины белого пламени конус голубого, прозрачного воздуха; вот на что нужно смотреть, вот на чем нужно концентрироваться. Когда боли становились обильными и быстрыми, я фиксировала все свое внимание на голубом отсутствии в сердце пламени, словно это был секрет пламени и, если б я достаточно на нем сконцентрировалась, он стал бы и моим секретом тоже.

Вскоре уже не было времени подумать о чем-нибудь еще. Тогда моими мыслями всецело завладело голубое пространство. Даже когда мое тело разрезали там, внизу, чтобы ребенок вышел, наконец, простейшим способом, мое внимание было сосредоточено на сердцевине пламени.

Сделав свое дело, пламя свечи погасло; ребенка завернули в шаль и дали мне.

Мария Магдалина размышляет над пламенем свечи. Она проникает в голубую сердцевину, голубое отсутствие. Она становится чем-то отличным от самой себя.

Безмолвие в картине (ибо это самая безмолвная из картин) исходит не из темноты за свечой в зеркале, но от тех двух свечей — настоящей свечи и свечи отраженной. Между собой две свечи рассеивают свет и безмолвие. Они повергли женщину в состояние оцепенения. Она не может говорить, не будет говорить. В пустыне она, возможно, начнет бормотать, но она откажется от речи, после всего этого, — после того как она поразмышляла над пламенем свечи и зеркалом. Она откажется от речи так же, как отказалась от своего жемчужного ожерелья, она уберет подальше свою красную юбку. Новый человек, святой, рождается из этого общения с пламенем свечи, но кое-что родилось уже из этого общения с пламенем свечи. Смотрите. Она уже носит это. Она носит там, где — если б она была Девой матерью, а не святой шлюхой — она положила бы своего ребенка, не живого ребенка, но memento mori, череп.

Перевод Игоря Карыча